



Погрузка началась с раннего утра, до первых трамваев.

И давно уже скрежетали у причалов пауки подъёмных кранов, ворочая клювами и перенося в открытые трюмы лес, тюки, ящики, автомашины, тугие рулоны листовой стали, авоськи с мешками, поддоны с кирпичом, контейнеры, пачки досок. Давно качалось над замученной, перемешанной буксирами бухтой жиденькое весеннее небо, насаженное на частокол рогатых мачт, а они всё шли и шли на борт по узкому трапу, всё шли и шли, горбатые от солдатских вещмешков, всё шли и шли, заплёскиваясь сапогами в полах шинелей, синяя выбритыми затылками, стучали каблуками по расцепленным доскам, опасно косясь вниз, в узкую щель меж причальной стенкой и гигантским, заслоняющим полнеба бортом в бесконечных рядах сдвоенных иллюминаторов.

И оттуда, с борта, с высоты его, открывался вид на кипящее море солдатских шапок и морских бескозырок в загоне, ограниченном и укрытом от города стенами складов и пакгаузов, и временами казалось, что вот-вот иссякнет толчея, и последние маршевые роты перетекут

Владимир Илюшин

ОСТРОВА

РАССКАЗ

Кавчук был первым, кто обратился к этой тематике, под его пером появились в 1976 году «Неувядаемые слова», «Зеленая гора». Думаю, что не прошли мимо его внимания и другие произведения древней корейской литературы, в частности «Жизнь Александра Жонгиса».

Замечу, что это издание появилось в 1990-е годы в издательстве «Солнечный ветер», которое тогда было частью издательства «Солнечный ветер».

на борт, оставив за собой мусор, пустые консервные банки из-под «сухпая», окурки, грязные портянки и рваные варежки, но тут въезжали в порт закрытые брезентом «Уралы», и из-под брезента валом валили мятые шинели, и опять поднимался гомон и гогот, прерываемый сиплыми криками сопровождающих офицеров. Сколько их уже было на борту и сколько ещё будет – знал, пожалуй, только военный комендант города, его писарь да капитан «Советского Союза», который временами показывался на палубе в своей громадной, с золотыми листьями на козырьке, фуражке, наблюдая за погрузкой.

Их не хотели показывать городу, и потому судно стояло в стороне от причала пассажирского порта, в неудобье, и потому так затянулась погрузка.

Солнце, утомившись, начало всё больше заваливаться за сопки Русского острова, и от перронов вокзала с коротким гуденьем одна за другой отходили пригородные электрички, битком набитые отработанным народом, а они всё шли и шли.

Давно прочитали по батареям, ротам и экипажам приказ министра обороны, вокзалы были

Владимир Владимирович Илюшин (1961–2002), прозаик. Автор книг «Тихоокеанское шоссе», «Письма осени», «Первому встречному», повестей «Выстрел» и «Трое суток д/б» («Рубеж» №2 и №5). Жил в Благовещенске и Хабаровске. Рассказ «Острова» – из архива амурской литературной газеты «Русский берег».

забиты «дембелями», и нарывами прорвались КПП глухих гарнизонов, запрятанных в сопках Уссурийской долины, опустели казармы учебных дивизий, «учебка» ехала по войскам, на Сахалин, на Курилы, в камчатскую флотилию, в отдалённые погранотряды, в автобаты, пехотные дивизии и батальоны.

Каждые полгода островная армия меняла до четверти рядового и сержантского состава. Призывников везли военно-транспортными самолётами, «спецы» и младшие командиры плыли на зафрахтованных армией судах.

Сколько же их было на борту? Это можно вычислить, проследив за осадкой судна, вычтя её из общего тоннажа и разделив на средний вес солдата, которого полгода кормили сухой картошкой, «кирзухой» и солдатским чёрным хлебом с остьями плохо размолотого зерна.

Вечер опускался на город, тысячами маленьких пожаров вспыхнули оконные стёкла домов Эгершельда, кубиками разбросанных на сопках, на кранах зажглись прожектора, тихонько замерцали на мазутной плёнке, покрывающей рабочую воду бухты, городские огни, а они всё шли и шли, монотонно грохоча сапогами по трапу, и сторожевые собаки в портах, перебегая по проволокам на цепях, скулили и лаяли, взбудораженные въедливым запахом солдатчины – запахом несвежих портянок, сапожной ваксы, дезинфекции, сырого сукна.

Шли солдаты общевойсковых частей, выстраиваясь поротно у трапа, где стояло оцепление, и метался краснорожий майор, охрипший от крика, матерщины, пытаясь перекричать разноголосый гвалт, скрип сходней, канатов и оглушительные шумы порта с его лязгом, скрежетом и гудками. Шли «помидоры» и «танки», «кочколазы», «пушки». Шли связисты, шофёры, зенитчики, ракетчики, повара. Прошла рота морской пехоты в чёрных беретах, коротких полусапожках, все как на подбор – высокие, рукастые, белобрысые, в сопровождении поджарого, заматеревшего старлея, резкого, лупатого, с щёткой чёрных усов и выпуклой грудью гимнаста. Основательно, наособицу, топали по трапу пограничники, крепкие, кряжистые, как грибы-боровички, в фуражках с зелёными околышами и бушлатах, за плечами у каждого – личный автомат, они одни во всём этом общеармейском сбросе ехали на новое место службы с оружием.

Интеллигентской разболтанностью повеяло от «летунов» в сопровождении застойно пьяного, болтливого капитана.

Потом шла матросня в гремящих тяжёлых «гадах» и поперла напрямиком к трапу, не слушая вопли возмущенного майора и смяв ошарашен-

ное оцепление клином упрямых военно-морских затылков с траурными косичками лент, испачканных исторически грозным золотом. И не слушая крики майора, взбежал по трапу, брезгливо пронёсся над поручнями зажатую в ладони перчатку, щеголеватый капитан-лейтенант и накоротке исчезнув, показался вновь, картинно встав на трапе и сделав перчаткой знак, в ответ на который загрохотал, заходил трап под бегущими ногами и – будто пролилась в высокий испачканный ржавчиной борт черная река. Были моряки и нет их. И тут же подъехали ещё и опять втиснулись, раздвигая галдящее общевойсковое море и уверенно пробираясь к трапу, но тут красноречивый майор заорал так, что дрогнул чёрный клин, смешался и, мгновение помедлив, двинулся к стене пакгауза, где на отвоёванных ящиках, а то и просто на корточках, голубями мостились зачуханные, небритые «сапоги», ошалевшие от дороги, от простора, вгоняющего в трепет после однообразия сопков, зелёных казарм и примелькавшихся лиц, обилия доступных женских ног, прикрытых надёжными колоколами юбок; чёрный траурный ряд прямых матросских плеч уверенно проложил себе дорогу среди красных и чёрных погон, наддали с насмешливой подначкой, с матерком, выдавил, вытеснил разбродно галдящую «пехтуру» и тут же расселся на ящиках и вещмешках, из которых тут же пошёл по красным, будто ошпаренным, в цыпках, рукам пайковый шоколад и белый хлеб, вызывая завистливые взгляды оголодавшей в дороге пехоты.

И всё лезли и лезли по трапу шинели, поднимаясь над рядами иллюминаторов, в которых уже торчали стриженные головы, обтянутые тельняшками плечи, всё скрипели и трещали под коваными каблуками заунывные, усталые доски, мыльная вода лилась из бортовых клюзов, скрипела безжалостная смятая резина кранцев, где-то наверху, над бесконечным рядом иллюминаторов, у самых мачт, кричал в мегафон сердитый голос, моряки в синих рабочих робах сновали по борту, и кучка гражданских толпилась на кормовой палубе, куда краном опускали легковые машины, одна к одной, жестоко раскрепляя проволокой.

Серая солдатская масса затопила каюты нижних палуб, салоны, поднялась наверх, в пугающую роскошь второго класса, в солидную оторопь ковровых дорожек, по которым страшно было ступать в сапогах, в нестерпимый зеркальный блеск, в недовольное вскрикивание горничных, и выхлестнула на закрытые прогулочные палубы с шезлонгами и расчерченными прямо по паркету шахматными досками и затопила их

галдящим морем бушлатов, бескозырок, вещмешков, и уже нельзя было пройти из носа в корму, и усталые вахтенные переступали через раскинутые ноги в сапогах и ботинках, мысленно и обреченно прикидывая, сколько сора и блевоты придётся выгребать завтра же. И покрикивая на солдат, раздраженные горничные, носясь с ведрами и заранее представляя загаженные туалеты, и уже опустошен был буфет, и солдатская очередь выстроилась у корабельной пекарни, и по приказу капитана заперли двери в бассейн, и двоих, уже успевших напиться, связали и спровадили в твиндек, служащий для мертвецов, случавшихся в дальних рейсах, но годящийся и для живых.

В двух корабельных столовых спешно меняли меню, закладывая в котлы пшёнку и гречку, настороженные предупрежденные буфетчицы втридорога и с великими предосторожностями уже продавали из-под полы солдатне водку и коньяк, и спешно организованный, вооруженный карабинами морской патруль уже разнял две драки на нижних палубах, уже кипели в бытовках солдатские прачечные и парикмахерские, и из рук в руки передавались утюги, а они всё шли и шли, и не было им конца...

И только к полуночи, когда в белых столбах прожекторов замерли казавшиеся заиндевелыми краны, и вода бухты заполнилась огнями, когда замер и стих вокзал, когда ушли из порта последние машины, вахтенные подняли трап, и два буксира, захлестнув стальными, толщиной в руку, канатами корму и нос, поднимая высокие буруны и подавшись из воды, потащили судно от причальной стенки на рейд и устало откашлявшись на прощанье, открячав сиплыми ночными голосами, отвалили в блескучую темень, перечеркнутую дорожками света, красным миганием фонарей; тогда только гигантский корабль, сияя огнями иллюминаторов, сигналами и топовыми фонарями, медленно двинулся к выходу из бухты, двинулся молча, лишь коротко и протяжно гуднув на прощанье, будто боясь потревожить спящий город. И тогда со всех палуб понеслись нестройные, перебегающие от кормы к носу крики, и полетели из иллюминаторов в чёрную воду консервные банки, бутылки, и ещё сотни молчаливых голов торчали из иллюминаторов, прощаясь с городом, прощаясь с материком, прощаясь с портовыми огнями, с сырыми казармами Русского острова, с теплотой редких светящихся окон в городе, который не хотел видеть их и спал, потушив последние фонари на улицах.

И едва вышли из коридора огней, так навалилась тревожная, с ветром и солёными полотна-

ми сорванной с волн влаги чёрная ночь, и первая волна подкатила под правую скулу корабля и ахнула, заставив вздрогнуть металлический гулкий корпус, по незримым этажам которого сновали и ходили, играли в карты и разговаривали в каютах солдаты. И ещё волна налетела на нос и разбилась, рассыпалась соленой влагой, ещё гуще навалилась чёрная ночь, испятнанная огоньками рыбацких судов, и не одно сердце сжалось, ощутив вдруг дремучий, неукротимый простор этой ночи, в котором, казалось, не было ни края, ни берега; только маслянистая зыбь чёрной воды, скрытое рваными облаками низкое небо до тонкого покатога горизонта. И тогда ближе и теплее сделалась эта рукотворная гигантская колыбель, на самом верху которой, на притемненном мостике, вырезанном в темноте хаосом прожекторов, освещавших нос горами закрытого брезентом, раскрепленного груза, виднелась фигура капитана в большой фуражке с мерцающими золотыми листьями по козырьку. И ещё не раз, будто пытаясь нащупать связь с потерянным берегом и рассказать ему о страхе и одиночестве, взревел гудок, крикнул раз, другой, третий, умолк, судно повернуло на маяк и, сияя огнями, будто плавающий многоэтажный дом, ушло в ночь.

Но мало кто спал на борту. Солдаты бежали по этажам, толпами ходили за горничными, разевая рты, кучковались в каютах, гладились и брились в бытовых комнатах, заводили разговоры с моряками, спускались вниз, в машинное отделение, где гудели громадные дизеля, ломались в медпункт, где скоро вышел весь запас йода и бинтов, толпились, вытягивая шеи, у открытых дверей киносалона.

Разнообразные формы одежды привлекали взаимное внимание, и особенный успех имел один «дембель», похожий то ли на лейб-гусара николаевских времён, то ли на генерала какой-то латиноамериканской армии. Вокруг него, гордо стоящего на площадке меж палубами, среди зеркал и медных завитушек, собралась целая толпа «молодых», в своей короткой армейской провинциальной жизни не видевших пока ничего подобного. «Дембель» и в самом деле был великолепен в своих набитых, подточенных, ромбами наглаженных сапогах, по бокам имевших шнуровку, и в идеально ушитом, едва не лопающемся на квадратной спине «пэша», обшитом белым проводом.

На круглой его башке чудом сидела малюсенькая офицерская шапка, из-под правого погона на красной бархатной основе свешивался самодельный аксельбант, подшитый бархатом же, и на две пуговицы расстегнутый воротник

открывал широкую грудь в тельняшке, и ниже воротника вся эта грудь обильно была засажена разнообразными значками: «Гвардией», значком первого класса, что означало, что «дембель» добился больших успехов в своей армейской специальности, был тут значок мастера спорта и комсомольский с «подвеской» из идеально отполированной латуни, изображавшей взлетающую ракету. Наибольшее внимание привлекал самодельный «поплавок», похожий на вузовский, с отполированным, выточенным из копейки гербом великой страны и белыми, приклеенными полукругом буквами ОДБ, означавшими, что какою-то часть своей службы «дембель» отбывал в отдельном дисциплинарном батальоне и, стало быть, служил он в армии не два года, а гораздо больше. И он сам подтвердил это, показав наколку на запястье, где на фоне восходящего солнца промежуток меж памятными датами призыва и увольнения в запас равнялся четырём годам. И, покручивая для большей выразительности татуированной сплошь кистью, куря и цвиркая слюной на ковровую дорожку, посвечивая самодельными съёмными фиксами, «дембель» охотно рассказывал, как валил он лес в бухте Советская Гавань целых полтора года и потом ещё полгода отсыпался в родной части, дожидаясь демобилизации, куда с великой радостью проводили его вздохнувшие свободно командиры.

Кроме «дембеля» были и ещё люди, распрощавшиеся с армией, кое-кто даже в гражданском, и они тоже были рады поделиться многообразным опытом, но и кроме них ехал в Магадан пяток подозрительных солдат в гимнастёрках времён второй мировой и длинных до пят кавалерийских шинелях, взятых, как оказалось, со старых, ещё семёновских складов. Ехали они изпод Читы, и им явно не хватало казачьих шапек и папах с малиновым верхом.

Были тут военнослужащие невиданных специальностей – морские летчики в матросских бушлатах с голубыми погонами, и это поразительное сочетание наводило на мысли о том гигантском и разнообразном мире, который изолированно существовал на островах частей и гарнизонов за шлагбаумами КПП и у всех были свои нормы довольствия, свои правила и жаргон, свои традиции и свои способы обмана командиров, потому что обманывали, как выяснялось из разговоров, все, и это было излюбленной темой и точкой соприкосновения морской и пехотной несовместимости.

Моряки рассказывали о том, как в дальних походах ставится бражка в вымытых огнетушителях, лётчики – о том, как сливается спирт.

Стройбат грустно признавался, что даже на «губе» с него дерут деньги – пять рублей в день, пограничники говорили, что на заставах у них нет ни стариков, ни молодых, ни «дедовства», и им никто не верил.

Обнаружился магнитофон, и в салоне третьего класса устроили дискотеку, и на вопли «битлов» повалил народ, кто не умел ломаться в шейке, отделявал вприсядку, под гогот и свист нашлись пары, исполнившие вальс, и явившийся шум и гам патруль не стал препятствовать, и патрульные морячки с карабинами замерли у дверей в салон, мечтательно улыбаясь и подрагивая ногами, отбивая носками ботинок незабытые ритмы. И до самого утра кипел, бурлил, гоготал прокуренный, заплёванный корабль, вгоняя в отчаянье горничных и в бессонницу офицеров. И только утром, когда навалился туман, стали притихать и смолкать палубы и умолкли до самого обеда, а судно шло в густом тумане, давя волну, шла, взрывывая гудками по неведомому, невероятному среди пустоты волн и тумана пути, и уже круче набегала на нос волна, и тяжёлый корпус будто зависал над бездной и вздрагивал, подхваченный потоком воды.

Туман разорвался на два часа, показав бесконечную череду белеющих штормовыми гребешками волн, чаек, немыслимо синее холодное небо, быстро скользнул день, и волна, наращивая шлепки, перешла в шторм, мимолётные полотнища водяной пыли, сорванные ветром, заблистали радугами под заходящим солнцем, горизонт накрылся синей непрозрачной стеной, ветер завыл, засвистал в снастях, стало захлёстывать иллюминаторы нижних палуб, и заходили, застонали переборки, натужно закричало железо, и пошло валять каюты вниз-вверх, и редко кто пошёл обедать – до вечера простояли накрытые столы.

Навалилась тяжёлая, бредовая ночь, пусто было в коридорах, в каютах и на верхних палубах лежали вповалку, укачались даже моряки, видевшие море только на учебных судах и просидевшие в казармах учебок полгода, то и дело кто-то свешивался за борт и видел свирепую мешанину наморщенной воды, которая сжималась складками и, меняя цвет, шипя воздухом, резко меняла плоскость, вставая вдруг на дыбы гигантской горой, и с грохотом, со стоном и воем рушилась на нижние палубы, накрывая груз яростной пенной скачкой и растекаясь по шатнувшейся палубе.

Как на гигантских качелях, возносило и обрушивало тяжёлые солдатские сны, бормотанье и бред: шорох и тяжёлое дыхание стояли в каютах, в спертном, настоявшемся на ваксе воздухе, и

казалось, конца не будет этому месиву из неба и воды, перемешавшему память и волю.

Кутру посветлело, небо отделилось от посветлевшей, всё ещё тяжёлой воды, палубы и каюты укрыл сон, в котором сновали с тряпками горничные, злые от качки и солдатской блевоты.

Небо набирало цвет, вода синела, облака отделились и пошли высоко-высоко, снова навалился туман, и, когда схлынув, оставив рваные клочья в мачтах и надстройках, когда ударило вдруг зловещее, немыслимо яркое солнце, кто-то вскрикнул, и гул пошёл по палубам, будя уснувших, растекаясь шевелением и топотом ног по трапам.

И тогда они увидели справа по борту яростную плоть камня, разорвавшего беснующийся океан. Дул ледяной обжигающий ветер, синева наклонившегося неба вгоняла в оторопь, прямо по борту, разодрав воду, безжизненно-каменные, с органными пропастями, падающими к самой воде, где яростно кололся на скалах прибой, и до странности маленькие виднелись домики не то рыбацких посёлков, не то застав.

Солдаты и моряки бежали по трапам и молча вставали у борта, опять прошёл нестройный гул голосов, и всё стихло в неумолчном, нечеловеческом шуме воды и свисте космического ледяного ветра, в котором молча и недвижно парили чайки, взмывая и падая. Казалось, они могли ходить по этому плотному яростному воздуху, осязаемому на лице, как острое железо.

Исковерканные спины каменных богатырей вставали из пучины в видимом напряжении, каменные мышцы проступали на них, они вста-

вали один за другим и терялись где-то вдали, уходя к горизонту цепочкой окаменевших героев. Корабль шёл мимо островов, и можно было разглядеть на вершинах остатки укреплений, доты, а может, это просто чудилось солдатским глазам.

Стоящий у борта мичман с тонкими чёрными усиками что-то сказал своим, и, как по команде, заученно, одним движением, моряки сняли бескозырки с поющими на ветру ленточками, обнажив стриженные белёсые, пегие, чёрные затылки. Это было по какой-то своей, но вслед за ними, в общей молчаливой завороченности, вдруг стали снимать шапки и пилотки притихшие солдаты общевойсковых частей, без команды, разбродно и врозь. Они снимали шапки один за другим, оглядываясь на товарищей и будто боясь нарушить молчание. Они стояли вдоль борта, локоть к локтю, так тесно, что никто уже не мог протиснуться с трапа на палубу, стояли с обнажёнными стриженными головами – вшивые девятнадцатилетние дети России пред её искорёженным, диким океанским краем, и над молчанием корабля плыло молчание парящих чаек, океанского гула и ледяного окраинного ветра, за которым на тысячи километров лежала вода, не признающая ни границ, ни человеческой памяти.

Острова проходили мимо в гуле и грохоте океана, а они стояли, будто оцепенев, завороченные грозной каменной плотью, разорвавшей воду. Их ждала островная армия, и забыты были все вокзалы на материке, где маялись шинели, бушлаты, кителя.